

Божий след в творчестве Достоевского

У Достоевского имя Бога не всегда высказано. Иногда оно скрыто в черновиках. Например, очень важная мысль: совесть – действие Бога в человеческой душе. Или в печати обрублен конец фразы: мир красота спасет; в черновиках – мир спасет красота Христа. Возможно, сказывается построение образа Мышкина: князь даже на прямой вопрос Рогожина, верует ли он в Бога, отвечает притчами. А может быть, сказался общий страх Достоевского “унизить идею”, впрямую выставив свои самые дорогие убеждения.

Имя Бога легко произносят богоборцы – Раскольников, Кириллов – или наивные персонажи, для которых просто нет многовековых споров, связанных с попытками определить, что за этим словом стоит. Армейский капитан, упомянутый в “Бесах”, наверняка ни о каких богословских и философских вопросах не думал. Бог для него был просто царем небесным. И он в полной душевной простоте сказал: “Если Бога нет, то какой же я капитан!” Чего, мол, тогда стоит мой чин, мое место в иерархии, если самого царя сбросили! Но за этим осознанным смыслом Достоевский вкладывал в его слова и смутный глубинный онтологический смысл (хотя, конечно, без понимания слова “онтология”). Если Бога нет, поколеблена иерархия глубин, полноты, весомости бытия – как в оде Державина: я раб, я царь, я червь, я Бог. Если вовсе нет Бога, то нет и божественного, вечного в человеке. Без Бога Кириллов мог бы обойтись, но без божественного в самом себе он падал, как песчинка, в бездну смерти вместе с мышами и кошками, которые этих мышей ловят. И этого он перенести не мог.

Наивно-образна и фраза Мити Карамазова, очень емкая по смыслу: “Бог с дьяволом сражается, и место битвы – душа человеческая”. Наивное сознание прямо видит, созерцает то, о чем оно говорит, обходя туманные абстракции философов, обходя законы, о которых спорят ученые. И крестьянка, вспомнившаяся Мышкину, видит Бога в улыбке своего младенца. За ее простым чувством стоит идея о вездесущности Бога, присутствующего в каждой человеческой радости и в каждом крике человеческой боли, и поэт именно это видит и чувствует в своих стихах:

Бога ударили по тонкой жиле,
По руке или даже по глазу, по мне.

Опыт истории за две с половиной тысячи лет показал, что понимание бесконечности Бога, понимание невозможности Его определить, вместить в какие-то слова, не мешает чувствовать Его как собеседника и устанавливает с Ним подобие переключки сердца с сердцем любящих, прижавшихся друг к другу.

Однако тот же Мышкин в разговоре с Рогожиным использует и другой прием: отрицать все попытки научно, рационально определить непостижимое. Этот прием много раз открывался заново, в том числе и в православии, и в католичестве. “Не то”, “не про то”, обращенное Мышкиным к логическим выкладкам атеиста, буквально повторяет “не это”, “не это” в Брихадараньяке-упанишаде, созданной в VIII-VI веках до Р.Х. Так же старо открытие, что место глубочайшей святости – в сердце и там его в любой век можно открыть и заново найти слова для своего открытия (например, наша душа – христианка, говорил Тертуллиан).

Слова “мир красота спасет” стали неотделимы от князя Мышкина. Но еще в Индии в XI веке Абхинавагупта писал: чувство красоты подобно чувству Брахмана. И Раскольников, забредая на острова, вдруг чувствует, как пламя заходящего солнца зажигает в нем вспышку внутреннего огня, и все теоретические построения сгорают, как лист бумаги. И он вдруг освобождается от навязчивой идеи и дышит полной грудью...

Но он только мимоходом взглянул на закат. Он не взгляделся в закат долго, пристально, до глубокого следа в сердце. Впечатление на миг освободило его от наваждения и расплылось в трюсбах, где вынашивалась теория. И тогда логика снова хватается за горло. Мысль о том, что

истинно только строго доказанное, – один из величайших соблазнов. Наталкиваясь на Божий след в природе, логик сразу его теряет.

К этому следу чутки любимые герои Достоевского. “Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?” – говорит Мышкин. Говорит, потому что видит красоту дерева до его божественного корня и в дереве ему открывается присутствие Бога. Так смотрит на закат Марья Тимофеевна Лебядкина, до слез счастья, до готовности целовать землю. Марья Тимофеевна живет в сказке, ей чувство красоты целого дано за счет способностей к рассудочному анализу, а Мышкин каким-то таинственным образом владеет развитием мысли до захватывающего красноречия и в то же время воспринимает жизнь поверх деталей и поверх мысли, в едином облике, где целое не складывается из частей, а, напротив, части вырастают из целого, как в импрессионистической картине или в живописи Дальнего Востока. Достоевский отдает ему свой дар гениального художника со всей чуткостью к Божьему следу и без тьмы страстей, затмевающей все. Этот образ отсылает нас на планету смешного человека, где совсем не было храмов, потому что живое чувство Целого вселенной было разлито в каждом и не было нужды напоминать о нем. Заглавная буква в слове “Целое” придает ему смысл бессознательно священного, как в раю, где всюду был Бог и нигде не было греха. И от этой очевидной, но не высказанной цельности – беззащитность во встрече с восстанием людских страстей, рвущих целое на части, неумение уходить от них в отрешенное созерцание. Мышкин – фигура фантастическая, во всей своей полноте – невысказанная и в то же время реальная в самом глубоком смысле слова, как беззащитный зародыш совершенного, духовно могучего человека, итога истории.

Исторически реальны скорее юродивые: Соня, та же Марья Тимофеевна, в которой закат на озере остается, как стержень, вокруг которого выстраивается ее сказочный мир. В этой сказке сохраняется связь с глубинной реальностью, и она дает дурочке прямой взгляд в души людей, считающих себя умными, образованными, и с полным правом она говорит им: скудно вы живете...

В душе Раскольникова отсветы Божьего следа сталкиваются с непомерным значением, которое он придает своей способности создавать и развивать теории; и только после мучительного опыта преступления его спасает любовь Сони, все терпящая, все прощающая, все согревающая своим теплом. И тогда он во сне видит то, что не видел умом, – кошмар всеобщей войны всех со всеми, фанатической захваченности теориями, идеями – и ненавистью друг к другу.

Теория Раскольникова, сталкиваясь с видением, рушится, как рухнули марксистские теории после реального исторического опыта, однако возможен патологоанатомический анализ трупа. Ход мысли Раскольникова, бредящего Наполеоном, предугадывает ход мысли Ленина: реальность наполеоновских войн освобождается от всех исторических подробностей, становится просто массовым убийством, так же как институт диктатуры в Риме становится абстракцией ничем не ограниченного насилия. На самом деле войны XIX века велись по известным правилам, были делом государственным и не личным произволом убийцы. Эти войны расшатывали культуру, но не разрушали ее, они были частью самой культуры. Монополию на убийство культура признает за государством и не вручает ее частным лицам, даже вооруженным передовой теорией.

К сожалению, тоталитарные государства XX века до того злоупотребили своей монополией, что принцип, доведенный до абсурда, был расшатан. Действия Гитлера оправдали попытку Штанфенберга убить фюрера. Участники заговора считаются в Германии национальными героями. Однако Эрнст Юнгер отказался от участия в заговоре по моральным соображениям: ему претила тайная подготовка убийства. Достоевский сталкивался с проблемой, несколько сходной: ему показалось, что он заметил след конспирации, возможно, связанной с подготовкой цареубийства. Цареубийство внушало ему ужас, но донос – еще больший ужас, и он ничего не сделал.

В моем опыте главные моральные трудности возникали именно в подобных случаях, когда принцип сталкивается с принципом, одна заповедь запрещает, а другая приказывает. Решение в таком случае возможно только интуитивно, по ту сторону принципов. Единственное общее правило дано здесь Августином: “Полюби Бога и делай, что хочешь”. Сын Божий – господин субботы. Но решать приходится, не дойдя до этого уровня и даже не очень приблизившись к нему, беря на себя грех действия, когда бездействие становится еще большим грехом. Митрополит Антоний Сурожский приводил несколько случаев подобных нравственных перекрестков. В тексте романа “Преступление и наказание” был такой перекресток, но Достоевский устранил его по требованию Каткова как “пережиток нигилизма”. Я думаю, там было нечто вроде “бунта” Ивана Карамазова. “Бунт” можно истолковать как оправдание революционного насилия. На это наводит восклицание Алеши: расстрелять! Но Алеша тут же берет свои слова обратно. Достоевский не хочет повторять опыт своей молодости. Иван Карамазов, искушавший Алешу, впадает в безумие.

Роман – не математическая теория, в нем нет однозначно доказанных тезисов, но творческая воля автора направлена к пути Христа, хотя бы и вопреки логике. Нравственная зрелость героя достигается приближением к пути Христа, чего бы это приближение ни стоило. Или же герой, задушенный страстями или задушенный абстракциями, гибнет.

Отступив от Божьего следа, герой чувствует боль в груди. Бог познается болью. Страдание от верности ложному принципу – один из постоянных приемов Достоевского, ведущих к Божьему следу.

Присутствие Бога, действие Бога невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Бесспорна только боль. И чувство боли снимается образом Бога, участвующего в нашем страдании. Это впервые было открыто в книге Иова – любимой книге Достоевского. Душа разверзается болью, и тогда она слышит Бога, и бесконечность, не имеющая границ, вдруг становится собеседником, и этот собеседник говорит с вами. То, что он говорит, непостижимо и не возвращает вам ваши потери, но каким-то образом оно возвращает вам смысл жизни. Слово Бог, которое произносит человек, “впавший в руки Бога живого”, не означает никакого предмета. Это письмо от интуиции говорящего к интуиции слушающего. Оно доходит до читателя, втянутого в жизнь Мити, Ивана, Алеши, невольно захватывающую вместе со всеми их проблемами.

Злоупотреблять этой магией искусства в прозе нельзя, и Достоевский только изредка дает герою пережить ее. Чтобы отдаться этой магии целиком, надо целиком выйти из быта в сказку, жить в сказке, как Марья Тимофеевна. Основные герои “Бесов” живут вне сказки, одни – в мире поверхностного здравого смысла, другие – в мире взбесившихся принципов, вырвавшихся из своих гнезд в традиции и мчащихся в тьму кромешную. Но убийство Марьи Тимофеевны – начало общей катастрофы. Внутренний мрак побеждает свет с горы Острой, помутившийся разум Кириллова переходит в полное безумие, а Ставрогин, отвергнув путь покаяния, вешается. И за всем этим просвечивает мышкинское “не то”, “не про то”.

Можно было бы здесь говорить еще о подполье, о хирении на полпути к смерти скоропостижной, как это назвал Майстер Экхарт, о сознании своего греха, невозможности исправиться и самоистязании. Но подполью была посвящена моя первая работа о Достоевском, написанная в 1938 году, и с тех пор я много раз к этой теме возвращался. Скажу только, что и подполье нельзя однозначно оценить. Это и патологическое состояние, и толчок к выходу из него, к преображению. Не случайно сразу же за “Записками из подполья” Достоевский пишет “Преступление и наказание”.